

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
Шизофрения сетевого пространства	12
Открытие, закрытие и фиксация дискурса	17
Структура книги	21
глава 1. во имя НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ УТОПИИ	23
Неолиберализм, демократия и национальный суверенитет.	23
Неолиберализм и украинская независимость	28
Явление Зеленского: изощренность симулякра.	33
глава 2. СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА БЕЗ ПРАВДЫ И ЛЖИ	39
Партийная машина глобализма	39
Интегральная реальность	45
Зеленский — Голобородько — Зеленский	51
Эктоплазма экрана.	54
глава 3. СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕССМЫСЛЕННО	57
«Не випускай землі з рук»	57
Похоронить коммунизм	65
Морализация политического	72
глава 4. НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ	75
Война за цивилизацию	75
Война за демократию	80
Объединение мира вокруг «правды»	82
Финальная битва Добра и Зла	85
глава 5. ГЛОБАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ДИСКУРСА.	91
Отмененные смыслы Майдана	91
<i>Олесь Бузина</i>	92
<i>Руслан Коцаба</i>	95
<i>Дмитрий Василец</i>	97

Отмененные смыслы СВО.100
<i>Юрий Ткачев</i> 101
<i>Дмитрий Джангиров</i> 103
Смысловые узлы оппозиционного дискурса106
ГЛАВА 6. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ108
Антимышление108
Двойное послание115
Падение воображения120
ЗАКЛЮЧЕНИЕ126
БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ.132

Введение

ПОСТМОДЕРН — понятие сложное. Разные мыслители, пытавшиеся осмыслить эпоху постмодерна, акцентировали внимание на разных ее аспектах [Павлов, 2023]. В этой книге данное явление рассматривается сквозь призму теорий, фокусирующих внимание на социально-философском воображении постмодерна, которое начало формироваться в Европе во второй половине XX в. как проявление кризиса сознания, связанного с переосмыслением Второй мировой войны, Холокоста, войн деколонизации, войны во Вьетнаме и прочих проявлений кризиса западной модели современности. В глазах многих европейских интеллектуалов перечисленные трагические события ознаменовали собой несостоятельность веры в то, что эта модель несет человечеству процветание и прогресс. Напротив, все эти рукотворные кошмары символизировали крах надежд на всемирное торжество гуманизма, воспетого Просвещением.

«Огромное чувство вины, разделяемое как интеллектуалами, так и политиками» [Baudrillard, 1994], привело к «широкому неприятию веры в прогресс, научные знания и человеческую способность изменить общество к лучшему, улучшить человеческую историю» — так суть происходящего сформулировал британский социолог Франк Веб-

стер [Webster, 1995, p. 164]. Как следствие этих трансформаций, по наблюдению французского исследователя Заки Лаиди, политика перестала находить свою легитимность в видении будущего, а свелась «к управлению обыкновенного настоящего» [Laidi, 1998, p. 7]. Широкое распространение получило иронично-скептическое отношение к наиболее взлелеянным ценностям эпохи Просвещения, которые и определяли идеологию западного модерна.

Все происшедшее в XX столетии требовало переосмысления эволюционистской парадигмы видения будущего, в соответствии с которой западной цивилизации было предназначено прокладывать путь к историческому прогрессу для всего человечества, «возглавляя огромную колонну,двигающуюся вперед, и указывая путь другим», как саркастически заметил канадский философ Чарльз Тейлор [Taylor, 1992, p. 424]. Осознание того, что идеология западнцентризма потерпела крах, заставило многих западных интеллектуалов заняться пересмотром всех нормативных представлений, что в итоге привело к «концу революционных идеологий, колониальных идеологий и христианских идеологий» [Dosse, Glassman, 1998, p. 359].

Возникла так называемая идеология неидеологий — то, что собственно и характеризует воображение постмодерна в социально-философском смысле. Все «метанарративы» были поставлены под сомнение; все «большие» теории, претендующие на универсальность, были оспорены; любой «тотальности» была объявлена война [Lyotard, 1984]. Оружием этой войны стала широкая программа деконструкции устоявшихся значений, воспринимаемых как «здравый смысл», — процесс, влекущий за собой разрушение этого самого смысла, который начинает восприниматься как «порабощающий» и мешающий представить альтернативные, более справедливые варианты мироустройства.

Часто именно это ставят в упрек мыслителям, пытавшимся осмыслить новую эпоху. Им вменяют в вину то, что в поиске исторической альтернативы западному модерну вместе с его программой они выплеснули и ребенка, т.е. здравый смысл. В этом упреке, несомненно, есть большая доля истины, о чем пойдет речь далее. Однако для того, чтобы разговор о постмодерне как о «структуре чувств» [Williams, 1977, p. 128] не был одномомерным, следует исходить из знаменитого замечания Фредрика Джеймисона о том, что постмодерн — это не стиль, а культурная логика конкретной исторической эпохи [Jameson, 1992].

Как отмечают многие исследователи, помимо всего прочего, эпоха постмодерна характеризуется потерей смысла, целей и общих значений для Запада — «слабого и напуганного общества, которое не сумело соответствовать своим собственным провозглашенным принципам», как сформулировал это британский исследователь Филипп Хаммонд [Hammond, 2007, p. 58]. Тревога, неуверенность и страх — вот те культурные доминанты, которые при таком ракурсе осмысления проблемы характеризуют мироощущение постмодерна. Как сформулировал это французский историк Жан Делюмо,

массовые убийства двадцатого века, начиная с 1914 г. до геноцида в Камбодже, включая различные холокосты и бомбовое истребление Вьетнама, угрозу ядерной войны, постоянно растущее применение пыток, увеличение количества ГУЛАГов, исчезновение ощущения безопасности, стремительное и все более тревожное развитие технологий; опасности, связанные с нескрываемо интенсивной эксплуатацией природных ресурсов, различными генетическими манипуляциями и неконтролируемым информационным взрывом: вот так много факторов, которые, собранные вместе, создают атмосферу тревоги в нашей цивилизации [Delumeau, 1990, p. 96–97].

«Как перспектива разочарования, постмодернизм точно описывает неопределенность, релятивизм и отсутствие веры в себя, которые характеризуют сегодняшнее общество, однако не способен это преодолеть», — отметил Хаммонд, анализируя связку между социально-политическими трансформациями второй половины XX в. и социально-политическими теориями, пытающимися эти трансформации осмыслить [Hammond, 2007, p. 8].

Это важная мысль. «Структура чувств» постмодерна возникает как осознание несостоятельности западноцентричных идеологий, обещающих процветание и прогресс всему человечеству. Однако, справедливо критикуя эти идеологии и высмеивая тупик, в который они завели, многие мыслители постмодерна оказались заложниками собственной программы, отрицающей любой метанарратив. Как следствие, никакой вынужденной альтернативы метаидеологии западного модерна, логическим следствием развития которого стали ужасы колонизации, деградация и войны, постмодернисты предложить не могли. Деконструкция гегемонистских идеологий вкупе с насмешливо-скептическим отношением к ним вряд ли сама по себе могла послужить альтернативной программой построения лучшего будущего.

Да и возможность существования такой единой для всех программы теоретики постмодерна тоже отрицали. В представлении постструктуралистов, например, любое единство формы и значения представлялось (и представляется) как ситуативное и временное; связи между означающим (формой) и означаемым (содержанием) постоянно разрываются только для того, чтобы вновь возникнуть в новых, непредсказуемых комбинациях [Derrida, 1994]. Следовательно, в соответствии с этой парадигмой, никакой смысл не может быть абсолютно одинаковым в разных социокультурных обстоятельствах; более того, даже при одних и тех же обстоятельствах никакой смысл

не может быть постоянным. Нет таких понятий, которые не были бы вовлечены в бесконечную игру значений [Eagleton, 1983]. Эта новая постмодернистская смысловая матрица характеризуется сдвигом границ мышления, дестабилизацией общих убеждений, отрицанием самого отрицания и шизофреническим триумфом оксюморона, который становится вездесущим.

Критикуя идеологию модерна, постмодернисты, таким образом, не могли (да и не хотели) ему противопоставить свое собственное обещание всеобщего счастья — любая претензия на всеобщность виделась ими не иначе как очередная попытка порабощения и отрицалась. Освобождение человеческого состояния представлялось не в следовании какому-то общему правилу (что чревато новыми ужасами колонизации и истребления тех, кто не вписывается в него), а созданием своих собственных правил в рамках постоянно движущейся матрицы значений. Как сформулировали это Жиль Делез и Феликс Гваттари посредством метафоры ризомы,

бухгалтерия и бюрократия работают по следам. Но они могут начать цвести, выбрасывая стебли ризомы, как в романе Кафки. Интенсивная особенность начинает работать сама на себя, галлюцинаторное восприятие, синестезия, перверсивная мутация или игра образов вырываются на свободу, бросая вызов гегемонии означающего. В случае с ребенком жестовая, миметическая, игровая и другие семиотические системы обретают свободу и выпутываются из «следа», т.е. из доминирующей компетенции языка учителя, — микроскопическое событие нарушает локальный баланс сил [Deleuze, Guattari, 1972, p. 15].

На языке Делеза и Гваттари быть ризоматичным означало иметь неограниченность мышления, при которой мысль может развиваться в любом направлении, а не просто следовать заранее проложенным «следам».

Фигура ризомы противопоставлялась фигуре дерева, которое развивалось только по заранее заданным направлениям. «Мы устали от деревьев. Мы должны перестать верить в деревья, корни и корешки. Они заставили нас слишком сильно страдать», — сокрушались философы [Deleuze, Guattari, 1972, p. 15]. По замыслу Делеза и Гваттари, для устранения дальнейших страданий «древесную» сущность человеческой культуры следовало превратить в ризоматическую.

Героём-бунтарем в этой философской системе становится фигура шизофреника, руководствующегося своей собственной системой координат:

В его распоряжении имеется собственный записывающий код, который не совпадает с социальным кодом или совпадает с ним только для того, чтобы пародировать его. Код бреда или желания оказывается необычайно изменчивым. Можно сказать, что шизофреник переходит от одного кода к другому, что он намеренно путает все коды, быстро меняя один на другой в соответствии с задаваемыми ему вопросами, никогда не давая одно и то же объяснение изо дня в день, никогда не ссылаясь на одну и ту же генеалогию, никогда не записывая одно и то же событие одинаково [Ibid., p. 15].

Признавая нелогичную, парадоксальную, противоречивую, дезориентирующую — шизофреническую — природу ризоматической смысловой сети, Делез и Гваттари тем не менее с оптимизмом смотрели на ее способность освободить людей от всех структурных (порабощающих) ограничений общества.

ШИЗОФРЕНИЯ СЕТЕВОГО ПРОСТРАНСТВА

Проблема с постмодернистской верой в освободительный потенциал ризоматической шизофреники стала очевидной, когда сетевая сущность глобального челове-

ского общества стала более осязаемой. Это произошло с появлением глобальных коммуникационных сетей, связавших разнообразные культуры, мировоззрения и идеологии в одно большое сетевое пространство. Они не только расширили горизонты возможностей и разнообразных свобод, но и радикализировали торжество оксюморона — сосуществование взаимоисключающих значений в одном пространстве, усиливая тем самым страх перед неизвестным, масштабы которого становились беспрецедентными. Как отмечает Марк Физерстоун, «сегодня мы находимся в странной ситуации, в которой мы больше не справляемся со стремительно меняющимся технологическим миром, который мы построили для себя» [Featherstone, 2008, p. 187].

Сколько сетевой шизофрении способно выдержать человечество? Этот вопрос стал, по сути, центральным для немецкого философа Рюдигера Сафрански в его работе «Сколько глобализации мы можем вынести?» [Safrański, 2005]. В ней философ обсуждает напряжение между Эго, которое всегда ищет идентичность во времени и пространстве, и перманентной «детерриторизацией» глобальных смыслов. По мнению Сафрански, попытки людей постичь бесконечность смысловой сети, открывающейся при глобализации коммуникаций, могут привести к серьезным психопатологическим эффектам — очень важный аспект проблемы, о котором речь будет идти далее.

Обсуждая возникновение «глобального общества риска», Ульрих Бек — еще один немецкий философ — также указывал на «чувство кризиса», проявляющееся в страхе утраты безопасности и неспособности знать, контролировать и устанавливать простые причинно-следственные связи. В глобальном обществе риска, по теории Бека, люди теряют «контроль над реальностью» [Beck, 2007, p. 292] и ищут «утраченную

безопасность» [Beck, 2010, p. 79]. Это изнуряющее для человека состояние, по мнению Бека, происходит потому, что «формируется сумеречная зона между уходом национальной эпохи и наступлением космополитической эпохи» [Beck, 2007, p. 2] — трансформация, при которой человечество оказывается в совершенно новой системе координат, постоянно мутирующей и не дающей ощутить твердую почву под ногами.

Эта сумеречная зона проявляется в одновременности неодновременного, гибридизации «уже нет» и «еще нет», а также замене линейной логики «или/или» на нелинейные сценарии «и/и». Она объединяет «то, что раньше казалось взаимоисключающим — общество и природу, социальные науки и материальные науки, дискурсивное конструирование рисков и физические угрозы» [Beck, 2010, p. 27]. Смешиваются существующее и несуществующее, настоящее и отсутствующее, близкое и далекое. Устраняются барьеры между добром и злом, нормальным и девиантным. Растворяются различия между возможностью и реальностью, субъективизмом и объективизмом, равновесием и разрушением. В ходе этой трансформации старые концепции с устойчивыми значениями превращаются в «категории-зомби», чья кажущаяся стабильность — не что иное, как иллюзия, остаток модернистского воображения.

«Вавилонская путаница политических концепций», описанная Бекком [Beck, 2007, p. 281], затрудняет определение того, кто на чьей стороне. Кажется, все перевернулось с ног на голову: корпорации защищают антикорпоративные движения, финансовые спекулянты осуждают спекуляции, мирная риторика порождает возможность войн, а «призывы к справедливости и человечности становятся мечом, который используется для вторжения в другие страны» [Ibid., p. 17]. Отмена противоположностей, возведенная на уровень принципа, подрыва-

ет здоровый смысл людей, ищущих общие идентичности и значения ради ощущения безопасности и определенности.

Именно эта потеря здравого смысла и связанный с ней «глубоко укоренившийся страх перед неизвестным», по мнению испанского социолога Мануэля Кастельса, заставляют людей объединяться в различные антиглобалистские движения, такие как исламский или христианский фундаментализм, в поисках «потерянной невинности» [Castells, 2010, p. 29]. Тревога и страх, связанные с потерей всего привычного и стабильного, становятся центральной проблемой «гипер», «радикализованной» или «ликвидной» современности — «состояния, в котором социальные формы... больше не могут (от них этого и не ожидают) сохраняться долго, потому что они разлагаются и тают быстрее, чем требуется времени для их фиксации» — наблюдение, сделанное польским философом Зигмунтом Бауманом [Bauman, 2007, p. 1].

Устраняя барьеры между знанием и невежеством, добром и злом, нормальным и девиантным, сетевая шизофрения, формировавшаяся на наших глазах в глобальных информационных сетях, которые ранее попросту отсутствовали, подрывала здоровый смысл людей, ищущих общие значения, одновременно усиливая страх перед неизвестным до беспрецедентного уровня [Safranski, 2005]. Как отметил Жак Бодрийяр, наступление новой эпохи было сопряжено с «радикальной, катастрофической тревогой» [Baudrillard, 1998, p. 67].

Мечтая вернуться к здоровому смыслу и порядку, жертвы сетевой шизофрении неохотно принимали и принимают ее как жизненную необходимость. Они «с тревогой сомневаются в том, имеет ли жизнь смысл, или задаются вопросом, в чем же ее смысл», как отметил Тейлор [Taylor, 1992, p. 16]. По мнению философа, бессмысленность, определяющая наш век,

соответствует недавнему изменению доминирующих характеристик психопатологии. Это неоднократно отмечалось психоаналитиками, что период, когда истерики и пациенты с фобиями и фиксациями составляли основную часть их клиентуры, начиная с классического периода Фрейда, недавно уступил место времени, когда основные жалобы концентрируются вокруг «утраты эго», или чувства пустоты, бесполезности, отсутствия цели или потери самооценки [Taylor, 1992, p. 19].

Сдвиг в стилях патологий, описанный Тейлором, соответствует «потере горизонта» — структуре чувств, которая стала определяющей на стыке XX и XXI вв. внутри западного общества, что и пытались осмыслить по крайней мере некоторые теоретики постмодерна.

Что важно отметить: радикальная тревога и «потеря горизонта» возникали не благодаря теоретическим интервенциям этих теоретиков — их теории стали попыткой осмысления этой новой реальности на стадии, когда она только зарождалась. Другой вопрос, что, придавая этой грандиозной трансформации смысл освобождения от поработающих идеологий и таким образом приветствуя ее, некоторые (далеко не все) философы, пытающиеся осмыслить постмодерн, только усугубляли смысловую неразбериху. Формулируя проблему таким образом, можно не соглашаться с рецептом освобождения человечества от западнотризма с помощью шизоаналитической программы Делеза и Гваттари, но трудно не согласиться с первопричиной возникновения этой программы — тем, что аргентинский философ Энрике Дуссель охарактеризовал как всеобъемлющую «деградацию» проекта западного модерна [Dussel, 2001].

Отталкиваясь от понимания этой первопричины и соглашаясь с постмодернистами в том, что освобождение возможно только при изживании «колониальности» мышления [Quijano, 2000] — повсеместного проник-

новения западнцентричного колониального воображения во все аспекты нашей жизни, включая то, как мы думаем, общаемся и действуем, многие теоретики деколонизации принимали постмодернистский метод деконструкции западнцентричных идеологий, при этом не обязательно отказывались от метанарративов вообще. В конце концов отказ от западного модерна и поиск альтернативных путей развития — то, чем занимаются исследователи, работающие в деколониальной парадигме, — это ведь в своем роде тоже метанарратив, только антизападного толка.

ОТКРЫТИЕ, ЗАКРЫТИЕ И ФИКСАЦИЯ ДИСКУРСА

Говоря по-другому, отказ от западнцентричных идеологий не обязательно подразумевает отказ от любых идеологий, хоть и нового толка. Оригинальное решение этой проблемы предложили Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф, аргентинский и бельгийский политические философы соответственно. Развивая идеи французского психоаналитика Жака Лакана, они констатировали следующее: «Дискурс, неспособный к генерированию какой-либо фиксированности значения, — это психотический дискурс» [Laclau, Mouffe, 1985, p. 112]. Этот психотический дискурс возникает именно тогда, когда шизофреник, описанный Делезом и Гваттари, переходит от одного кода к другому и намеренно путает все коды, быстро меняя один на другой. При таком психотическом дискурсе смысловая коммуникация невозможна, как невозможно и создание какой бы то ни было цельной идеологической структуры.

По теории дискурса Лаклау и Муфф, для того чтобы смысловая коммуникация состоялась, должно состояться так называемое дискурсивное замыкание, т.е. фиксация узловых точек (привилегированных означающих)

в эквивалентной цепи, объединяющей эти точки в дискурс. При этом, однако, следует понимать, что фиксация смысла при таком замыкании — явление временное, так как смысл может поменяться под воздействием обстоятельств, и тогда старые эквивалентные цепи разрушатся и появятся новые смысловые связки.

Парадоксальная невозможность и в то же время необходимость дискурсивных замыканий является одним из центральных постулатов дискурсивной теории Лаклау и Муффа. С одной стороны, никакое значение/смысл невозможно установить или передать без дискурсивного замыкания; с другой стороны, такие фиксации смысла всегда нестабильны, даже если они и существуют в течение длительного времени. Любая окончательная фиксация значений немислима, поскольку их можно дестабилизировать, активизируя альтернативные связки между элементами поля дискурсивности — резервуара всех доступных дискурсивных элементов. Именно здесь на первый план выходит идея случайности, центральная для дискурсивной теории Лаклау и Муффа. Поскольку при артикуляции означающие могут оказаться связанными с альтернативными ассоциациями, что может привести к формированию альтернативных дискурсов, любую смысловую конфигурацию следует рассматривать как потенциально подверженную изменениям.

В соответствии с этой теорией, хотя окончательная фиксация смысла невозможна, длительные (но не бесконечные) дискурсивные замыкания все же случаются — либо через социальную «седиментацию», когда с течением времени следы «случайности» формирования определенных смыслов стираются и они начинают представляться как незыблемые и вечные [Laclau, 1990, p. 34], либо через «административную практику, которая бюрократически решает социальные вопросы» [Laclau, 2001,

р. 12]. Под последним имеется в виду жесткий контроль в сфере информационной политики. Такое длительное замыкание дискурса с помощью институциональных механизмов Муффф называет «тоталитарным закрытием дискурса», производящим радикальный общественный антагонизм и ведущим к тоталитарным методам управления [Mouffe, 2009].

Резюмируя дискурсивную теорию Лаклау и Муффф, можно заключить следующее: принятие постмодернистской программы идеологической/дискурсивной деконструкции идеологий западного модерна совсем не обязательно означает согласие с идеей о том, что освобождение от этих порабощающих идеологий возможно только при помощи шизоризоматической свободы неограниченных смысловых игр. Следуя теории Лаклау и Муффф, можно признать и факт того, что никакой смысл не может быть вечным и любые понятия могут с течением времени и при разных социокультурных обстоятельствах осмысливаться по-другому, приобретая альтернативные значения.

Данная книга написана именно в этом ключе. С использованием теории Лаклау и Муффф в ней анализируется история бывшего комика, эксплуатировавшего в своей политической программе тот самый гибридный подход — замену линейной логики «или/или» на нелинейный сценарий «и/и», о котором писал Бек. История прихода к президентской власти Владимира Зеленского — политический проект, в котором телевизионный сериал был задействован в качестве неофициальной предвыборной программы, — рассматривается также и в свете теории «интегральной вселенной» Бодрийяра, где «реальность исчезает в руках кино, а кино исчезает в руках реальности» [Baudrillard, 2005, p. 125] и где «нет больше ни актеров, ни зрителей» [Ibid., p. 135]. В результате анализа, представленного в книге, политический

перформанс Зеленского предстает как игра «на грани реальности и ее исчезновения» [Baudrillard, 2005, p. 69], т.е. как интегральная реальность.

Хотелось бы отметить, что такая аналитическая призма не была предметом сложного аналитического выбора, она напрашивалась сама собой — с самого начала политической карьеры Зеленского разговоры о симулякре не затихали в телевизионных студиях Украины, где аналитики спрашивали друг друга: «Это реальность? Или еще одна шутка? Это все еще спектакль? Мы уже находимся в симулякре?» [Канал 5, 2021]. Вот интересный отрывок из телепрограммы по этому поводу:

Аналитик: Это кинематографическая реальность, которая дала возможность Зеленскому выйти по второй тур. Победить в первом туре. Потому что что такое кино? Обещает же не Зеленский — обещает Голобородько... Актер обещает! Персонаж обещает!

Ведущий: Ну а против кого будет импичмент, против Зеленского или Голобородько, в случае чего? [Канал 112, 2019].

Вопрос вызвал смех. Ни аудитория в студии, ни население страны в целом еще не понимали последствия вступления страны в сумеречную зону спутанных смыслов. Значение этой путаницы Украине еще предстоит осознать. Тогда, в 2019 г., она смеялась над нелепыми (как тогда казалось) вопросами, которыми за 15 лет до этого задавался Бодрийяр. «Существует ли реальность? Мы в реальном мире? — это лейтмотив всей нашей нынешней культуры», — писал мыслитель, и его размышления над происходящим не выглядели забавными [Baudrillard, 2005, p. 26].

Как показывается в этой работе, в истории Зеленского грань, отделяющая реальное от виртуального, была размыта с самого начала: было неясно, где заканчивает-

ся перформанс и начинается реальная политика. Предвыборные обещания Зеленского, данные им посредством сериала, были абсолютно нереалистичны, но никто не мог быть привлечен к ответственности, потому что обещания были даны в рамках телесериала. Симультаном оказались и «партия» Зеленского, названная как сериал, и якобы «демократическая» процедура принятия антинародных законов с помощью этой партийной машины, и «нужды народа», дискурсивно конструированные Зеленским, и т.д., и т.п.

Поскольку грань между виртуальным и реальным была размыва с самого начала, украинцы оказались в сумеречной зоне без смысловых границ, без правды и лжи — в зоне, которая «пожирает в своем огромном брюхе как действующих лиц, так и противодействующих лиц и даже питается сопротивлением: она выбивает почву из-под ног сопротивляющихся, устраняя принцип оппозиции» [Beck, 2007, p. 290]. Демонтаж основ политического процесса — логический результат демонтажа принципа оппозиции — стал одной из главных особенностей неолиберального авторитаризма Зеленского, который был сформирован на грани виртуального и реального.

СТРУКТУРА КНИГИ

В первой части книги рассматривается история Зеленского в контексте интегральной реальности неолиберального мира. В *первой главе* обсуждается смысл интегрального проекта Зеленского с точки зрения так называемого ордоглобализма — континентальной школы неолиберального мышления с ее общей тенденцией к стремлению защитить глобальный рынок от суверенного демократического давления [Slobodian, 2018]. Во *второй главе* анализируется, как именно властная машина Зеленско-

го, подавившая демократическую энергию народа после его избрания президентом, создавалась на грани реального и виртуального. В *третьей главе* на примере украинской земельной реформы, одобренной при правлении Зеленского, рассказывается о том, какие социально-политические последствия могут иметь интегральные политические проекты.

Вторая часть книги посвящена транснациональному популистскому проекту Зеленского после 24 февраля 2022 г. В *четвертой главе* анализируется, как Зеленский дискурсивно конструировал глобальный мир в виде жесткой дихотомии «цивилизованных людей» — тех, кто разделяет ценности свободы и демократии, и «варваров», отвергающих эти ценности. В *пятой главе* обсуждаются альтернативные смыслы, исключение которых из глобального смыслового поля обеспечивало нормализацию гегемонистского дискурса, проповедуемого Зеленским. В *шестой главе* итоги правления Зеленского обсуждаются в контексте теорий постмодерна, в соответствии с которыми интегральная шизофрения, используемая стратегически для достижения политических целей, приводит к социальным патологиям, таким как общественная дезориентация и потеря смысла.

В книге переосмыслены результаты авторских работ, в которых исследовался интегральный популистский проект Зеленского и которые были опубликованы в монографиях и статьях, выпущенных ведущими академическими издательствами (см.: [Bayscha, 2022a; 2022b; 2023a; 2023b; 2023c]).

Глава 1

Во имя неолиберальной утопии

В первой главе рассматривается популистский успех Зеленского в контексте истории «ордоглобализма» — континентальной школы неолиберального мышления с ее тенденцией к стремлению защитить глобальный рынок от демократического давления суверенных стран. В главе показывается, как с первого дня своего президентского правления Зеленский был окружен фигурами, тесно связанными с неолиберальными институтами глобальной власти. Несмотря на то что Зеленский был избран демократически, его реально-виртуальный политический проект, установивший на Украине власть глобалистов, смог эффективно защитить непопулярные неолиберальные реформы от противящегося им народа.

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ, ДЕМОКРАТИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Существует много определений неолиберализма, так как считается, что имеется множество его вариантов — понятие «неолиберализм» нельзя свести к единому пакету политико-экономических мер. Несмотря на то что аналитики МВФ признают, что самыми важными со-

ставляющими многих неолиберальных проектов являются приватизация, дерегуляция и либерализация [Ostry et al., 2016], комбинации этих мер могут варьировать, как и смыслы, которые эти вариации приобретают в разных социально-культурологических контекстах.

Считается также, что понятие «неолиберализм» нельзя свести к трудам Фридриха Хайека, Милтона Фридмана и других интеллектуалов — основателей неолиберальной школы экономической мысли, поскольку его сегодняшние варианты существенно отличаются от того, как представляли себе неолиберализм отцы-основатели, стоявшие у истоков этого интеллектуального движения. Говоря языком дискурсивной теории, неолиберализм — это «пустое означающее» [Laclau, Mouffe, 1985], приобретающее разные значения при разных обстоятельствах и представляющее собой, таким образом, «движущуюся матрицу артикуляций» [Peck, Theodore, 2019, p. 246]. Однако при этом общим знаменателем всех разнообразных вариантов неолиберализма остается то, что неолиберальное воображение наделяет капитал небывалой социальной ценностью [Brown, 2019]. С этой точки зрения свободные экономические отношения предстают в качестве нормативной модели всех социальных отношений, включая и демократию, которая при неолиберализме тоже экономизируется.

Мало кто из критиков современного финансового капитализма сомневается в том, что при торжестве неолиберальных отношений социальные процессы начинают оцениваться в рыночных категориях. Что оспаривается, так это широко распространенное мнение о неолиберальной политике как о политике невмешательства государства в экономические процессы, основанной на вере в саморегулируемость рынков. Как сформулировал это канадский историк Куинн Слободян в своей книге «Глобалисты», реализация глобального неолиберального

проекта связана с созданием институтов «не для освобождения рынков, а для их ограждения, для прививки капитализма от угроз демократии» [Slobodian, 2018, p. 2].

По мнению Слободяна, размышления о том, как защитить свободный рынок от демократического давления, были общей тенденцией для мыслителей континентальной (Женевской) школы неолиберализма — «ордоглобалистов», как называет их автор. По сравнению со своими англо-американскими коллегами ордоглобалисты уделяли гораздо большее внимание именно вопросам глобального экономического управления посредством создания транснациональных центров неолиберального влияния. Поскольку во второй половине XX в. демократия стала влиятельным фактором глобальных процессов — что было обусловлено крушением империй, деколонизацией и появлением новых государств, — дискуссия по поводу необходимости ее ограничения становилась все более оживленной. Эта проблематика, которая была немыслимой для классических либералов, стала центральной для неолибералов послевоенного времени.

При этом нужно понимать, отмечает Слободян, что демократия не отменялась неолибералами полностью. Скорее, речь шла о «противоречии между защитой демократии ради мирных преобразований и осуждением ее способности подрывать существующий порядок» [Ibid., p. 14]. Демократию не следует разрушать, считали ордоглобалисты, так как демократические системы с их открытой конкуренцией и свободой инноваций обеспечивают творческий потенциал развития. Демократию следует ограничивать, чтобы не допустить саморазрушения всей системы.

Слободян рассматривает создание наднациональных институтов управления, таких как МВФ, Всемирный банк или ВТО, а также международные договоры

типа НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) как попытку оградить глобальный рынок от демократического давления, исходящего от суверенных национальных государств. С этой точки зрения создание параллельной глобальной правовой системы, распространение офшорных налоговых убежищ и создание различных типов специальных экономических зон являются звеньями одной цепи. Все они призваны защитить глобальный капитал от рисков прогрессивного налогообложения, равного перераспределения и других проявлений демократических амбиций по достижению социального равенства.

Таким образом, в изложении Слободяна неолиберализм предстает как проект, направленный конкретно на создание институтов для защиты свободных рынков от всякого рода демократических вмешательств, чтобы найти «правовое и институциональное решение разрушительного воздействия демократии на рыночные процессы» [Slobodian, 2018, p. 11]. То есть целью транснациональных неолиберальных институций является не освобождение рынков от государства и обеспечение их саморегулирования или «высвобождения» (автономного существования, если использовать термины Карла Полаanyi [Polanyi, 2001]), а в защите рынка посредством создания подходящей правовой системы для институциональной перестройки государства. Рынки не рассматриваются как данные от природы — они целенаправленно конструируются посредством создания внеэкономических условий.

Из такого понимания неолиберального режима глобальной власти логически проистекает предположение о том, что глобалисты должны с подозрением относиться не только к демократии, но и к сильному суверенитету национальных государств. Как выразился Слободян, «на протяжении всего двадцатого века ордоглобализм был одержим двумя проблемами: во-первых, как

полагаться на демократию, учитывая способность демократии уничтожить саму себя; и, во-вторых, как полагаться на нации, учитывая способность национализма “разрушать мир”» [Slobodian, 2018, p. 13]. Представители ордоглобализма считали, что национальные государства должны быть включены в глобальный институциональный режим защиты свободного рынка, в идеале все они должны регулироваться одними и теми же законами. «Чрезмерность суверенитета должна быть упразднена», как выразился Вильгельм Рёпке (цит. по: [Bonefeld, 2015, p. 868]).

То есть поиск адекватного баланса между глобальным экономическим порядком и национальными политическими режимами стал главной неолиберальной проблемой постколониального времени. Женевская школа неолиберальной мысли не предполагала полное упразднение национальных государств; скорее, отношения между ними и глобальными институтами экономического регулирования представлялись такими, которые могли бы позволить игнорировать национальное законодательство, если оно ущемляет в правах глобальный капитал. При этом национальные государства должны были бы оставаться полезными с точки зрения поддержания политической легитимности и стабильности, а транснациональные институты неолиберального влияния должны были бы с ними работать, чтобы обеспечить эффективное функционирование глобальной экономической системы. Но если этой системе угрожают суверенные решения национальных государств, она должна иметь возможность их отменить.

Подводя итог этому небольшому обзору работы Слободяна «Глобалисты», можно сказать, что неолиберальное мышление, по крайней мере в его «ордоглобальной» версии, в первую очередь направлено на создание институциональных рамок, охватывающих как глобаль-

ные, так и местные структуры власти. Их цель — упредить национально-демократическое противодействие (в виде требования социальной справедливости, понимаемой как эгалитарное перераспределение ресурсов) развитию свободных капиталистических рынков.

Как уже было отмечено, такое видение неолиберализма очень полезно для понимания неолиберального проекта имени Зеленского. Если оценивать его с точки зрения ордоглобалистской мысли, проект выглядит (вернее, выглядел в первые два года президентства бывшего комика) логичным и даже успешным: мобилизовав демократическую энергию народа посредством реально-виртуальной машины власти — фабрики грез под названием «Слуга народа», руководители этого проекта смогли эффективно обуздать эту энергию после победы актера на президентских выборах в 2019 г.

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ И УКРАИНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Следует отметить, что взятие Украины под глобальный неолиберальный контроль началось задолго до прихода Зеленского во власть. История неолиберальных трансформаций Украины ведет свое начало от первой половины 1990-х годов, когда были приняты закон «Об иностранных инвестициях» и постановление «О режиме иностранных инвестиций», предоставлявшие государственные гарантии по возврату инвестиций иностранным инвесторам и защите от изменений инвестиционного законодательства в течение 10 лет [Yurchenko, 2018]. С целью дополнительной защиты глобального капитала весь процесс контролировался и координировался МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и т.д.

Парадоксально, но чем больше проходило времени с момента провозглашения украинской государствен-

ной независимости, тем более активизировался процесс установления иностранного контроля над страной. В первые годы существования украинского государства вряд ли можно было представить, что иностранные граждане будут назначаться на высшие государственные посты, но это стало возможным двумя десятилетиями позже, а именно после победы Евромайдана в 2014 г., когда иностранное присутствие в украинских властных структурах стало восприниматься как норма.

Наталья Яресько, гражданка США, в 2014 г. была назначена министром финансов Украины. В этой должности Яресько реализовывала «крупнейшую программу МВФ в истории учреждения» [Aspen, n/d], а после работы на Украине была отправлена исполнять обязанности директора Совета по финансовому надзору и управлению Пуэрто-Рико. Иначе говоря, после завершения своей миссии на Украине Яресько отправилась исполнять неолиберальную миссию в следующей стране — типичная карьерная траектория глобалиста.

Айварас Абромавичюс, гражданин Литвы, в 2014 г. стал министром экономики и торговли Украины и проводил политику дерегулирования, приватизации и жесткой экономии. После ухода с министерского поста был назначен генеральным директором крупнейшего государственного оборонно-промышленного предприятия Украины «Укроборонпром» для надзора над соответствием деятельности концерна интересам глобального капитала.

Ульяна Супрун, гражданка США, стала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Реформа здравоохранения Супрун предполагала закрытие неэффективных клиник; их «эффективность», разумеется, оценивалась не с точки зрения здоровья людей, а с точки зрения финансовых показателей. Оппозиция назвала эту монетизированную политику здравоохранения «ге-

ноцидом украинского народа». Супрун получила всенародное прозвище «доктор Смерть». После выполнения своей неолиберальной миссии на Украине она вернулась в США.

Это только наиболее известные имена иностранных граждан, занявших видные государственные посты после победы Евромайдана, другие получили должности более низких рангов.

Иностранный контроль над украинской экономической политикой осуществлялся также с помощью так называемых реформаторских офисов, существующих исключительно за счет грантовых средств, предоставляемых иностранными посольствами и агентствами, связанными с Джорджем Соросом. В одной из своих программ об этих «реформаторских офисах» подробно рассказывал популярный украинский блогер Анатолий Шарий, утверждавший, что многие украинские так называемые активисты живут исключительно на эти деньги. Некоторые из них, по данным Шария, имели зарплату от 5 тыс. до 10 тыс. долл. в месяц. «Десять тысяч долларов в нищей абсолютно Украине, выплачивают какие-то организации, связанные с Соросом. Зачем?» — задавался вопросом блогер [Шарий, 2019].

Отвечая на него, Шарий объяснял, что основной целью этих офисов была разработка неолиберальных реформ, таких как вырубка лесов, продажа национальных земельных ресурсов, или реформ в государственном управлении: «Импортные всевозможные фонды, организации платят деньги, например, для того, чтобы вот эти вот мальчики входили в комиссии, отбирали прокуроров, к примеру» [Там же]. Работа этих офисов, учрежденных после Евромайдана, при президентстве Зеленского не просто продолжилась — их бывшие руководители вошли в правительство в качестве заместителей министров. Следуя инструкциям иностранных советни-